

Николай Семёнович Лесков

# Житие одной бабы



Николай Лесков  
**Житие одной бабы**

«Public Domain»

1863

**Лесков Н. С.**

Житие одной бабы / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1863

© Лесков Н. С., 1863  
© Public Domain, 1863

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая                      | 5  |
| I                                 | 5  |
| II                                | 10 |
| III                               | 14 |
| IV                                | 19 |
| V                                 | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 23 |

# Николай Лесков

## Житие одной бабы

(Из гостомельских воспоминаний)

*Ивушка, ивушка.  
Ракитовый кусток!  
Что же ты, ивушка,  
Не зелена стоишь?  
– Как же мне, ивушке,  
Зеленой быть?  
Срубили ивушку  
Под самый корешок.  
Русская песня.*

### Часть первая

#### I

Маленький мужичонко был рюминский Костик, а злющий был такой, что упаси господи! В семье у них была мать Мавра Петровна, Костик этот самый, два его младшие брата, Петр и Егор, да сестра Настя. Петровна уж была-таки древняя старуха, да и удушье ее все мучило, а Петька с Егоркой были молодые ребятки и находились в ученье, один по башмачному мастерству, а другой в столярах. Оба были ребятки вострые и учились как следует. Дома оставалась только сама Петровна с Настей да с Костиком. Все они в ту пору были еще крепостными и жили в господском дворе. Панок их был у нас на Гостомле из самых дробных; всего восемнадцать душ за ним со всей мелкотой считалось, и все его крестьяне жили тут же в его дворе на месячине, – земли своей не имели. Житье было известно какое – со всячинкой; но больше всего донимала рюминских крестьян теснота. Пускай правда, что мужик не привык к кабинетам – всё у него в одной избе, – да по крайности там уже всё своя семья, а тут на рюминском дворе всего две избы стояли, и в одной из них жило две семьи, а в другой три. Теснота, ссоры промеж себя, ябеда с сердцов друг на друга, сквернословие, – такое безобразие шло, что не приведи бог! Дети тут так и росли в этой срамоте, и Костик тут вырос, глядячи, как покойный отец сухотил весь век свою жену, пока не вогнал ее в удушье. А Мавра Петровна отличная была женщина. Она была взята из однодворок и пошла в крепость с нужды горькой, потому что у нас в округе иные вольные в ту пору еще хуже крепостных живали: бедность страшная. Старик Минаич рассказывал, что в молодые годы Петровна была первая красавица по всему Труфанову, и можно этому верить, потому что и в пятьдесят лет она была очень приятная старуха: росту высокого, сухая, волосы совсем почти седые, а глаза черные, как угольки, и такие живые, умные и добрые. Доброте ее меры не было: всем она все прощала. Муж ее тиранил, увечил, и пьяница к тому же был; а она, как овечка божия, все ему угождала, и слова от нее на мужа никто не слышал. Все, бывало, его убажает: «Антонович да Антонович, такой-сякой немазанный, утихомирься ты, перекрестись, испей водицы!» Ни жалобы, ни свары от нее он никогда не видал. А как помер ее муж, так она его оплакала горькими слезами и на могилку все ходила и голосила голосом: «Касатик ты мой миленький! на кого же ты меня покинул? Кто меня приголубит? Кто меня пожалеет?» Словно как и в самом деле она от него жалость какую в своей жизни видала.

Как умер Антоныч, Мавра Петровна сама стала о детях печалиться. От Костика ей никакого почтения не было: разбойник разбойником вышел. Видит Петровна, что никакого пути так не будет, упростила своего панка отдать Петьку и Егорку в ученье по мастерству. Панок согласился – ему это выгодно было, потому что он малоземельный был, а мастеровой человек больше может оброку платить. Насчет же воли теперешней тогда хоть и ходили у нас слухи, да только никто ей не верил, ни господа, ни крестьяне. Скажешь, бывало, кому: «Вот скоро воля будет», – так только рукой махнет: «Это, – говорили, – улита едет, – когда-то будет!» Отвела Петровна своих сыновей и сама их к местам определила: Петьку на четыре года, а Егорку на шесть лет. У нас не берут на короткие сроки, потому что года два сначала мальчика только «утюжат», да «шпандорют», да за водой либо за водкой посылают, а там уж кой-чему учить станут.

Как вернулась Петровна домой, стала она думать и о Насте. А Насте в ту пору уж семнадцатый годок пошел. Вся она была в мать и характером в нее пошла, только еще, кажется, была безответнее. С собой она была не красавица, никто на нее не заглядывался, а таки пригожая была девушка. Высокая была, черноволосая, а глаза черные, щечки румяные, губки розовые; сухощава только была, тем и не нравилась, не зарились на нее ребята. У нас все в моде, чтоб девка была, что называется, «разное-мое», телеса чтоб были; ну, а у Насти этих телес не было, так ее и звали Настька-сухопарая. У нас все всякому своя кличка приложена, и мужикам, и бабам, и девкам: Гришка-жулястый, Матюшка-раскаряка, Аленка-брюхастая, Анютка-круглая, Настька-сухопарая – всё так. Иной раз за этими кличками и крещеное имя совсем забудут. Зовут все девку «круглая» да «круглая», а как придется по имени назвать – никто и не знает. И клички же бывают! От иной с души мутит, а иную и сказать срамно; а с привычки-то ничего. Впрочем, Настя не то чтобы уж кашей костлявый была, только телес этих много не имела, а то ничего – девка была пригожая.

Думала, думала Петровна, что ей с Настей делать? и надумала просить свою пани, чтобы та взяла ее в горницу. В магазин в ученье Петровна боялась отдать дочку. «Девка безответная, – думала она, – только ленивый ее не набьется; а там еще подведут под такое, что „за срам голова згинет“», – не отдала. «В хоромах все-таки лучше; по крайности на глазах у меня, а от сквернословия от здешнего подальше». Так и сделала. Стала Настя днем жить в комнате у барыни, а ночевать ходила к матери. Чулан тут у них в сенях был из дощечек отгорожен в уголке; там их рухлядь кое-какая стояла: две, не то три коробки, донца, прялки, тальки, что нитки мотают, стан, на котором холсты ткут, да веретье – больше у них ничего не было. В этом чуланчике они спали лето и зиму. У нас в Гостомле есть много народу, что от тесноты в избах целую зиму спят по чуланам да по пунькам либо по подклетям. Чуланчики такие, вроде деревенских часовен, погородят из хворостового плетня, либо просто на дворе, либо под сараем, и это называют «пуньками». Как женится кто в семье, сейчас и заводится такой пунькой – для молодой жены. «Вот, мол, тебе, касатка, удобьце! живи, радуйся, назад не оглядывайся!» И живут в этих апартаментах, пока детвора пойдет. А тогда уж с ребятками на зиму мать переходит в избу. Тут и старики, тут и муж с женой, тут и девушки взрослые, все это и на виду и на слуху, – такое безобразие. А куда денешься-то? Тут оно и «снохачество» это у нас заводится, тут и дети невесть чему до поры до времени поизучиваются, а опять-таки подеться некуда! Теснится народушко на просторной Руси, и трудно ему рассмотреть в волоковое окно свои нечисти.

Костик спал в господской конюшне. Говорили, что он там коммерцией занимался: овес у лошадей выгробал да продавал; жеребца господского на гуменник выводил к крестьянским кобылам, – по полтиннику за лошадь брал. У нас охотники до лошадей, и коневье все рослое у мужиков; а жеребцов не держат, потому что беспокойства с ними много; ни пахать на нем, ни в табун его выпустить нельзя. Да и в дворе тоже кому за ним смотреть? Иную пору в дворе остаются одни бабы, – где им водиться с жеребцом? – ни вывести его, ни запретить. Вырвется, других переранит и сам изранится, а то и совсем еще забежит. А у нас народ теплый, «в глазах

деревня сгорит». Об нас по целой по России ходит поговорка, что «Орел да Кромы – первые воры, а Карачев на придачу». А что по обапольности, так наших мужиков было распоряжение и на ярмарки не пускать, потому что купцы даже ездить отказывались. Баловство было большое в нашем народе, и истари-таки оно трясется у нас на Гостомле. Но я в другой раз расскажу, как и отчего все это распочалось и выросло. Теперь говорю только, что у нас воровство, кажись, и за грех не почиталось; а если кто неловко украдет да поймают, так до суда редко доходило, сейчас свой суд короткий: отомнут ребра, так что век не человек, да и пустят на карачках ползать. Сами о себе гостомельцы, бывало, говорят: «Наш народ шельма прожженная».

Так и жил Костик и держался от семьи, словно волк какой, все стороною, особничком. Правда ли, не правда ли, что он торговал и овсом, и водкой, и господскими жеребцами, бог его знает, потому что в маленьком хуторе все один другого поедом ели, избрехались, несли друг на друга всякую всячину, – а только деньги у него были. Толковали, что рублей со сто он имел, и надо полагать, что это правда, потому что дворник с курского шоссе ему был должен и кузнец с почтовой станции. Это все знали, потому что Костик и с дворником и с кузнецом тесную компанию водил; а он не любил зря с кем попало компанствовать. Не то чтобы он горд был или чванлив, а так все любил знаться с теми, с кем можно дела какие-нибудь делать. Спроста он ничего не делал. По обапольности у него все было знакомство с садовниками, да с шинкарями, да с дворниками с большой дороги, да с мельниками – всё с таким народом. С своими он был неразговорчив, разве только как пьяный вернется, так кому-нибудь буркнет слово; а то все ходит понурою да свои усенки покусывает. Обшивала и обмывала его Настя, а почету ей или хоть внимания, хоть слова ласкового никогда от него не было.

Вздумал Костик жениться на двадцать шестом году. Он был старше Насти лет на восемь. Выбрал он себе жену отличную, звали Аленой. Она была из соседнего хутора, из крестьянской семьи. Смирная была девушка и работящая. Сделалось это дело; привез Костик молодую жену от венца в барской бричке и стал жить с нею в том чуланчике, где мать с сестрою жили. Остепенился будто сначала, а тут дочь у него родилась, да неблагополучно. Бог ее знает, чем-то повредила бабка Алену при родах. Ребенок медленно шел, так она повела Алену в печку, спаривала там ее, встряхивала, косу ее заставляла жевать, изгадила бабу так, что никуда она не стала годиться. А у нас в городе жил старичок, к купечеству он был приписан, но ничем не торговал, а занимался леченьем; звали его Сила Иванович Крылушкин. Удивительный был старичок: добрый такой, что и описать нельзя. Про его доброту святую целая губерния знала. И такой он был благообразный, такой миловидный, что, бывало, как положит он кому-нибудь на голову свою бледную руку, так и хочется поцеловать эту руку. Точно патриарх святой. В лечении он был очень искусен, и больных к нему навозили с разных сторон, из сел и из городов. Лечил он всех у себя в доме, и все больше одними травами, которые сам и собирал весной. От всяких болезней лечил Сила Иванович и всегда успешно. Народ говорил, что «Крылушкину бог помогает», и верил в него как в слугу божьего. Мавра Петровна тоже знала про Крылушкина и не раз у него бывала. И стала она приставать к сыну: «Свези да свези ты жену к Силе Ивановичу». А он все отпирается, что денег нет.

– Бога ты, Костя, не боишься! Денег у тебя для жены нет. Неш она у тебя какая ледащая, или не тебе с ней жить, а соседу? Глянь ты: баба сохнет, кровью исходит. Тебе ж худо: твой век молодой, какая жизнь без жены? А еще того хуже, как с женою, да без жены. Подумай, Костя, сам!

Думал, думал Костик и надумался. Разобрал, что худо жить с больной женой – невыгодно. Повез Алену, к Крылушкину. Вернулся оттуда злющий—презлющий, – денег ему жаль было, что отдал за жену Крылушкину. А и денег-то всего Крылушкин двадцать пять рублей на ассигнации взял. У нас и до сих пор народ все еще на ассигнации считает. Не говорят, например, «рубель серебром», а «три с полтиной старыми». Стал Костик без жены все разъезжать по ночам верхом на барской лошади к своим приятелям по обапольности, и познакомился он у

почтового кузнеца с однодворцем Прокудиным. Прокудин был человек пожилой и достаточный: имел он у себя одиннадцать лошадей, которых посылал в извоз, и маслобойню, на которой бил конопляное масло. Дело это у нас очень выгодное, потому что конопля кругом море, а мужички народ и недостаточный и таки беззаботный. Выдерет конопля, обмолотит, ссыплет в анбарчик, и черт ему не брат, – цены своему товару не сложит. Купцы, зная это, уж и не ездят в деревни, пока не станут чиновники собирать подушных. Потому что не укупишь тут у мужика ничего. Пойдет один на другого опираться: «Да мы-ста не знаем; да какие цены, бог е знает; как люди, так и мы. Вон наши большаки еще не продавали». Только от них и добьешься. А как потребуют подушное, так тут забирай у них, по чем хочешь. Купцы на этом большую пользу для себя имеют; но больше в этом деле корыстуются свои сельские большаки, то есть этакие богатенькие мужички, что капиталец кой-какой имеют или свои маслобойни. Прокудин был не из самых богатых; только еще на разживу пошел. Собрал денег с извоза и маслобойню выстроил, а на торговлю-то уж не осталось. Он бил масло из чужой конопля из-за платы да из-за жмыха. Плата у нас за выбивку масла пустая, потому что много уж очень маслобоек, но жмых дорог в хозяйстве: им и лошадей кормят и свиней, да и люди его, по нужде, к муке подмешивают. Однако дело это с маслобойней не тешило Прокудина. Все хотелось ему так же, как другие, бить масло из своей конопля, потому что тут барыша бывает рубль на рубль.

– Так-то бы оно, Константин Борисыч, было бы, к примеру, антиреснее, – говорил он Константину, сидя с ним за штофом у почтового кузнеца.

– Это точно, что глаже было бы, – отвечал Костик.

Смекнул это дело Костик, отобрал свои деньги с процентов у кузнеца и у дворника, и составили они с Прокудиным компанию. Прокудин был темный мужик, ну да и Костик не промах. Попытали они было сначала друг друга за дверь вывести, да и бросили, увидавши, что нашла коса на камень. Дело у них с самого с зимнего Николы пошло крупное – на рубль два наживали. Костик всякий вечер уходил на маслобойню и по целым ночам там сидел. Учитывал он Прокудина лучше любого контролера. Так прошла зима, свезли масло в Орел, продали его хорошей ценою, поделили барыши, и досталось Костику на его долю с лишком двести рублей. Стали мужики соседние Костику кланяться и стали его называть Константином Борисычем. Алена тем временем выздоровела и домой вернулась, только все молилась мужу: «Не тронь ты меня, Борисыч; дай мне с силой собраться». Это Костика сердило, и все он попрекал жену ее лечением. А она, я вам сказал, безответная была – все молчала. У нас много есть таких женщин по селам, что вырастает она в нужде да в загоне, так после терпит все, словно каменная, и не разберешь никак: не то она чувствует, что терпит, не то и не чувствует. Настя тоже была терпеливая, только эта все горячо чувствовала. Бывало, скажет ей Петровна: «Плоха я становлюсь, Настасьюшка! На кого я тебя покину? Хоть бы мне своими руками тебя под честной венец благословить». А она так и побледнеет: «Живи, – говорит, – матушка! живи ты; не хочу я замуж; я с тобою буду». – «Дитя ты мое глупое!» – скажет, бывало, Петровна, да и закашляется. Совсем стало ее одолевать удушье, а осенью, как начались туманы да слякоть, два раза так ее прихватило, что думали, вот-вот душа с телом на русстали. Снежок в эту осень рано выпал; к Михайлову дню уж и санный путь стал. На Михайлов день у нас праздник. Петровна выпросила у барыни Настю, и пошли они к обедне, и Костик пошел, только особо, с мирошником Михайлой. В церкви, как отошла обедня, Прокудин запросил их к себе на обед. Петровна было отказывалась: «Дело, – говорила, – мое слабое, где мне по гостям ходить? Благодарим на добром слове, на привете ласковом!» Но Костик глянул на мать, глянул на сестру, они и пошли. Сестра его страсть как боялась, а мать хоть и не боялась, но часто по его делала, «абы лихо спало тихо». Зашли все к Прокудину. Угощенье было богатое: пироги, щи со свежиной, похлебка с потрохами, гуси жареные, солонина духовая с хреном, гусиные полотки, а после закуски разные: орехи, подсолнухи, столбики с инбирем и круглые прянички, а детям коньки пряничные. При этом, разумеется, было и выпито вдоволь и водки, и пива, и домашней браги,

и меду сыченого. Костик так нахлебтался, что на ногах не стоял и молол всякий вздор. Настя с молодками да с девушками на верхнем полу сидели. Ее все спрашивали, что да как там у вас в господском доме? Какие порядки? Кто ябедой или переносами занимается? Какова невестка? Гуляет она с кем или нет? Но у Насти, бывало, ни о ком худого слова не вытянешь. Тихая была девка и на словах будто не речиста; а как нужно увернуться, чтобы кого словом не охаять, так так умела она это сделать, что никому и невдомек, что она схитрила. Петровну Прокудин усадил в красный угол и все за ней ухаживал и дочерей к ней подводил, и внуков, и сына Григорья. Григорью было лет двадцать. Несуразный он был парень: приземистый, голова какая-то плоская, нос крошечный с пережабиной и говорил так гугняво, неприятно. В деревне все считали его дурачком и звали Гришкой-лопоухим. «Вот мой и наследник! – сказал Прокудин, указывая Петровне на Гришку. – Вот для кого и быюсь и стараюсь. Умру, с собой не возьму ничего, все ему останется».

Вечером запрег Прокудин сани и отправил гостей домой; лошадь правил Гришка, а Костик пьяный во все горло орал песни, и все его с души мутило. Рада была Настя, что домой вернулась; надоело ей это гостеванье и пьянство. К работе мужичьей она была привычна, потому что у нас мелкие панки в рабочую пору всех на поле выгоняли, даже ни одной души в доме не останется. Настя умела и жать, и гресть за косой, и снопы вязать, и лошадь править, и пеньку мять, прясть, ткать, холсты белить; словом, всю крестьянскую работу знала, и еще как ловко ее справляла, и избы курной она не боялась. Даже изба ей была милее, чем бесприютная прихожая в господской мазанке; а безобразие, пьянство да песни пьяные страсть как ее смущали. Она очень любила, коли кто поет песню из сердца, и сама певала песни, чуткие, больные да ноющие. Большая она была песельница, и даже господа ее иной раз вечером заставляли петь. Только она им не пела своих любимых песен, эти песни она все про себя пела, словно берегла их, чтоб не выпеть, не израсходовать. Пойдет, бывало, за водою к роднику, – ключ тут чистый такой из-под горки бил, – поставит кувшины под желоб, да и заведет:

Из-за бору, бору зеленова  
Протекала свет быстрая речка,  
Стучала, гремела по камням острым,  
Обрастала быстра речка калиной, малиной.  
На калиновом мосточке сидела голубка, —  
Ноженьки мыла, полоскала,  
Сизые перышки перебирала,  
Бедную головушку чесала,  
Расчесав головушку, взворковала:  
«Завтра поутру батюшка будет...  
Хоть он будет иль не будет, тоска не убудет:  
Вдвое, втрое у голубки печали прибудет».

## II

Ноябрь уж приходил к концу, началась филиповка; дорога стояла отменная; заказано было собирать подушное. Костик все чаще навещал Прокудина; сидели, водочку вместе попи-вали, а о деле, насчет конопли, ни слова. Костик все мостился к Прокудину опять в компанию, а прямо сказать не хотел, потому что знал, какой Прокудин прижимистый. Прокудин тоже молчал. Костиков капитал ему бы и крепко теперь был к руке, да на уме он что-то держал и до поры до времени отмалчивался. Костик видел, что Прокудин неспроста что-то носом водит, а разгадать его мыслей никак не мог. Надоело ему это до смерти, злился он, как змей лютый; а все по вечерам заходил к Прокудину. Стали большаки конопельку ссыпать, и Прокудин возов с пяток ссыпал. Видит Костик, что дело без него обходится, не стерпел, пошел к Прокудину. Пришел вечером, а Прокудина дома нету.

– Где Исай Матвеич? – спросил Костик.

– Нетути, родимый! у масляницу пошел.

Пошел и Костик в масляницу.

– Здравствуй, Матвеич!

– Здравствуй, Борисыч!

– Помогай бог.

– Спасибо.

– Аль пущать масляницу задумал?

– Хочу пущать в четверг.

– Доброе дело.

– Что господь одарит.

– Матвеич! вечерячь пора. Ужинать собрали, – крикнула через окно жена Прокудина.

– Ладно. Вечеряйте, мы после придем; а ты, Гришутка, иди; я сам тут печку покопаю.

Григорий встал, закинул в печку новую охапку прошлогодней костры, передал отцу ожег, исправлявший должность кочерги, и вышел. Прокудин почесал бороду, лег на костру перед печкою и стал смотреть, как густой, черный дым проникал сквозь закинутую в печь охапку белой костры, пока вся эта костра вдруг вспыхнула и осветила всю масляницу ярким полемем.

– Ух! шибнуло как, – сказал Прокудин, заслоня от жару ладонью свое лицо.

Костик ничего не ответил на это замечание, только встал, закурил свою коротенькую трубочку, лег возле Прокудина на брюхо и пристально в него воззрился.

– Что ж, как, Матвеич? – спросил Костик.

– Ась!

– Как, мол, дела-то будут?

– Какие?

– Да известно какие: по маслобойке.

– А уж как господь приведет.

– Вместе, что ли, опять будем?

– Эт-га с тобой, что ли?

– Ну да.

Прокудин задумался. Костик раза два курнул, сплюнул и опять спросил:

– Ну, как же?

– Да оно бы, известно, ничего; да...

– Что?

– Дела вон ишь ты какие.

– Какие ж дела?

– Все брешут: то на бар, то воля; в степи, пожалуй, погонят. Кто его знает-то!

– Это все пустяки! – отвечал Костик, ясно понимавший, что Прокудин увертывается от прямого ответа.

– Пустяки, пустяки, а иной раз, гляди, на экую штуку наскочишь. Я это тебя ж пожалеючи говорю.

– Ты вот что, Матвеич! Ты не михлюй, а говори дело: хочешь али не хочешь компанию опять иметь?

– Да не гужо, чудак ты этакой!

– Стало, не хочешь?

– Вот пристал!

Костик поднялся, взял с лавки шапку и сказал:

– Ну, на том прощенья просим, Исай Матвеич!

– Постой! Куда ты? – крикнул Прокудин.

– Ко двору пора.

– Постой, сичас Гришка придет, пойдем повечеряем; хоть выпьем по крайности вместе.

– Нет, пойду ко двору.

– Экой неуломный!

– Прощай!

Костик ушел и целую неделю не приходил к Прокудину. Прокудин пустил в ход маслобойню и закупал богатой рукой коноплю. Костик все это слышал и бесился. Масло стояло высоко, а коноплю Прокудин забирал без цены: барыши впереди были страшные. Думал было Костик обратиться к кому-нибудь другому из мельников, да все как-то не подходило, и капитала ему всем не хотелось оказывать. А барыши Прокудинские ему в горле стояли. Прокудин тоже боялся, чтобы Костик не подсударил своего капитала кому другому, и не спускал его с глаз. Капиталу у Прокудина тоже невесть что было в сборе; он только нарочно подзадоривал Костика большими закупками конопли, а в деньгах на оборот крепко нуждался. Костик же этого никак сообразить не мог и все думал, что Прокудин, должно быть, обогрел его при прошлогоднем расчете, и еще больше сердился.

Прошло этак дней восемь, мужички тащили к Прокудину коноплю со всех сторон, а денег у него стало совсем намале. Запрет он лошадь и поехал в Ретяжи к куму мельнику позаняться деньгами, да не застал его дома. Думал Прокудин, как бы ему половчее обойтись с Костиком? А Костик как вырос перед ним: ведет барских лошадей с водопою, от того самого родника, у которого Настя свои жалостные песни любила петь. Завидел Прокудин Костика и остановил лошадь.

– Здравствуй, – говорит, – Борисович!

– Здравствуй! – отвечал Костик.

– Что тебя не видать?

– Зачем видеть-то?

– Как зачем? Неш все по делу! Можно, чай, и так повидаться.

– Некогда, дядя! – и Костик дернул лошадей.

– Слушай-кась! Постой! – крикнул Прокудин.

– Чего?

– Да вот что! Ты побывай ко мне.

– Ладно.

– Нет, исправда побывай.

– За коим лядом?

– Дело есть.

– Полно шутики шутить!

– Нет, право-слово, дело есть.

– А дело есть, так говори.

- Что тут за разговор на улице.
- Пойдем в избу.
- Бревен там лишних много, в вашей избе-то. Побывай ко мне сегодня. А то, мальй, жалеть опосля будешь.
- Да какое там дело?
- Ну, какое дело! Приходи, так узнаешь. Костик ничего не ответил и повел лошадей; Прокудин тоже хлопнул вожжой и поехал ко двору.
- Поужинал Костик, надел тулуп и пошел к Прокудину. Все уж спали; он стукнул в окно масляницы; Прокудин ему отпер. Костик, не поздоровавшись, сел и спросил:
  - Ну, какое там дело?
  - Погоди, прыток больно. Вот выпьем да капусткой закусим, тогда и дело будет. Выпили и закусили.
  - У меня, брат, нынче все как-то живот болит, – сказал Прокудин.
  - Ты говори, дело-то у тебя какое до меня? – отвечал Костик.
  - Такое дело, что жаль мне тебя, старого друга: вот какое дело!
  - Благодарим, – отвечал Костик совершенно серьезно.
  - Право.
  - Да я ж тебя и благодарю.
  - Хоть мне и не надобен твой капитал и не под руку он мне, – сла—ть господи, свой недостаток есть, – ну, иначе, вижу, что надо тебя приютить в товарищи.
- Костик молчал. Он смекал, что Прокудин что-то надумал.
  - Выпьем-ка по другому, – сказал Прокудин. Выпили.
  - Еще одну.
- И еще по одной выпили.
  - Только вот что, – сказал Прокудин.
  - Что?
  - У меня есть до тебя просьба. Да вряд, парень, сослужишь.
  - Говори, какая такая просьба?
  - А если как сослужишь, то не то, что то есть вот эта компания, – это: тьфу! (Прокудин плюнул), – а по гроб жизни тебя не забуду. Что хочешь, во всем тебе не откажу.
  - Да говори, говори.
  - Словом скажу: считаться не будем, как послужишь.
  - Да полно калякать-то: говори, в чем дело.
- Прокудин воззрился в Костика, помолчал и потом тихонько сказал:
  - Парня хочу женить.
  - Ну.
  - Невесту надоть достать.
  - Что ж, есть на примете, что ли?
  - Есть.
  - Девка?
  - Знамо, девка.
  - Знамо! А может, вдова.
  - Девка.
  - За чем же дело стало?
  - Да за тобой.
  - Как за мной?
  - Гришутка парень смирный да непоказной. Из наших ему невест не выберешь: всё сорви-головы девки.
  - Стало, из чужих насмотрел?

– Из чужих.

– Дальняя, откуда?

– Нет, сблизу. Да не в том штука. А тебя надо просить: ты парень ловкой; без тебя этого дела не обделаешь.

– Да чия ж такая будет эта девка?

– А вот выпьем, да и скажу.

Выпили по четвертому стакану. В голове у Костика заходило. Он закурил трубку и спросил:

– Ну, чья?

– Да что, брат! не знаю, и говорить ли? И тебе, должно, этому делу не помочь. А уж уважал бы я тебя; то есть вот как бы уважал, что на век бы ты пошел. Только что нет, не сдействуешь ты, – говорил Прокудин, выгадывая время, чтобы Костика покрепче разобрало вино и жадность. – А ты ловок, шельма, на эти дела!

– Да говори! – крикнул Костик. – Знаю я эту девку, что ли?

– Знаешь, – отвечал, прищуривая глаза и улыбаясь, Прокудин.

– Кто ж она такая?

– Честная девка.

– Честная! да откуда?

– Из хорошей семьи, из разумной.

– Как ее звать?

– Настасьею. Догадался, что ли? А по батюшке Борисовной, коли уж ты нонеча недогадлив стал.

Костик захохотал.

– Это-то дело! – вскрикнул он. – Ну, дело! Это дело все равно что сделано.

– Ой?

– Разумеется.

– Не врешь, парень? – проговорил Прокудин, улыбаясь и наклоняясь к Костику.

– Разводи толковище-то!

Они поцеловались, и еще по стакану выпили, и еще, и еще, и так весь штоф высушили. Не мог Костик нарадоваться, что этим дело разъяснилось. Он все думал, что не имеет ли Прокудин какого умысла принять его не в половину, а на малую часть или не загадает ли ему какого дела опасного. С радости все целовался пьяный брат, продавши родную сестру за корысть, за прибыли.

### III

Костик недолго собирался. На другой же день он вызвал сестру в чулан и объявил ей свою волю. Девка так и ахнула.

– Это за гугнявого-то? – спросила она. – Что это вы, братец! шутите?

– Не шучу, а ты пойдешь за него замуж. Сегодня Прокудин господам деньги внесет.

– Я не пойду, братец, – тихо отвечала робкая Настя; а сама как полотно белая стала.

– Что-о? – спросил Костик и заскрипел зубами. – Не пойдешь?

– Не могу, братец, – отвечала Настя, не поднимая глаз на брата.

– С чего это *не могу?* – опять спросил Костик, передразнивая сестру на слове «не могу».

Настя молчала.

– Говори, черт тебя абдери! – крикнул Костик.

Настя все молчала.

– Стой же, девка, я знаю, что с тобой делать!

– Не сердитесь, братец.

– Говори: отчего не пойдешь за Григория?

– Противен он мне; смерть как противен!

– Н-да! Вот оно штука-то! Ну, это вздор, брат. С лица-то не воду пить. Это не мадель – баловаться.

– Братец! Голубчик мой! Вы мне наместо отца родного! – крикнула Настя и, зарыдав, бросилась брату в ноги. – Не губите вы меня! Зреть я его не могу: как мне с ним жить?..

– Молчать! – крикнул Костик и, оттолкнув сестру ногою в угол чулана, вышел вон. А Настя, как толкнул ее брат, так и осталась на том месте, оперлася рукой о кадлушечку с мукой и все плакала и плакала; даже глаза у нее покраснели.

– Что тебе, Настюша? – спросила ее Алена.

– Ох, невестушка милая! что они со мной хотят делать: за Гришку за Прокудина хотят меня выдать; а он мне все равно что вон наш кобель рябый. Зреть я его не могу; как я с ним жить стану? Помоги ты мне, родная ты моя Аленушка! Наставь ты меня: что мне делать, горькой? – говорила Настя, плачучи.

Стала Алена и руки опустила. Смерть ей жаль было Насти, а пособить она ей ничем не придумала; она и сама была такая же горькая, и себе рады никакой дать не умела. Села только да голову Настину себе в колена положила, и плакали вдвоем. А в чулане холод, и слезы как падают, так смерзнут.

Костик тем временем переговорил с матерью и с барыней. Мать только спросила: «Каков парень-то, Костюша?» Костик расхвалил Гришку; сказал, что и непитуший и смиренный. «Ну и с богом; что ж косою-то трепать в девках!» – отвечала Петровна. Ей и в ум не пришло, что Настя этого гугнявого и лопоухого смиренного «зреть не может»; что он ей «все равно что рябый кобель», который по двору бегал. Как ее выдавали замуж, так и она выдавала дочь. Только бы «благословить под святой венец». А барыня и еще меньше толковала. Запросила она за девку шестьдесят пять рублей, а сошлись на сорока, и тем дело покончили, и рукобитье было, и запои, – и девки на девичник собрались. Свадьба должна была быть сейчас после крещения. Недели с три всего оставалось Насте прожить своим житьем девичьим.

Всегда Настя была добрая и кроткая, а тут, в эти три недели, совсем точно ангел небесный стала. И жалкая она такая была, что смотреть на нее никак нельзя: словно тень ее ходит, а ее самой как нет, будто душечка ее отлетела. Лицо стало такое длинное да бледное, как воск, а черные волосы еще более увеличивали эту бледность. Только материнские агатовые глаза горели скрытым внутренним огнем и выражали ту страшную подавленность, которая не давала Насте силы встать за самое себя. По ночам она все не спала, все ей что-то чудилось. То, бывало,

побежит к матери, то бросится в господскую детскую. Там две барышни маленькие спали: одна из них, Машенька (царство ей небесное, умерла уже она), была любимица Настина. Ей всего шестой годочек шел, да понятливая была девочка и чувствительная. Бывало, если отец на кого крикнет или вздумает кого розгами наказывать, по тогдашним порядкам, так она, как ястребок маленький, так перед отцом и толчется: «Плясти, папа! плясти для меня! Я плакать буду, плясти, папочка!» А сама уж в пять ручьев плачет. Так, бывало, и отмолит от наказания. Все ее люди любили в дворе: «Это наша застоя!» – говорили, бывало. Всякий ее на руки хотел взять, поддержать, поцеловать ее маленькую лапку. Все ей за князя пророчили выйти, а она вышла за еловую домовинку. Настя больше всех, кажется, любила маленькую барышню, и Маша ее любила без памяти. С тех пор как Костик женился на Алене и занял Петровнин чулан, Настя стала спать на войлочке возле Машиной кровати. Ночью, бывало, и то у них дружба идет. Проснется Маша, сейчас шепотом Настю зовет или сама соскочит в рубашоночке с кровати да прямо и юркнет к Насте под одеяло, и целуются, целуются, словно любовники молодые или как голуби. Так и заснут, уста к устам прижавши. Настя Машу обнимает, а та ее обхватит своею ручонкою за шею, и спят так, как два ангела божьи. Не раз их так заставала барыня, и доставалось за это на орехи и Насте и барышне, но разнять их никак не могли. Днем тоже Маша вертелась все возле Насти. Зимой Настя тальки по уроку пряла. Две тальки в неделю, по сорока пбсом, в каждом пасме по сорок ниток, и чтобы свернутая талька в барынино венчальное кольцо проходила. Это очень трудная работа, но Настя была первая мастерица прясть. Случился у Насти двугривенный, и купила она за него на ярмарке для Маши маленький гребень с донцем. Такая была радость ребенку! С тех пор она все с этим снарядом в ногах у Насти на скамеечке мостилась и пряла хлопки. Шутя, шутя выучила ее Настя прясть, и сама, бывало, засмотрится, как та одною лапкою намычку из гребня щепет, а другою ведет нитку да веретенцем маленьким посукает. «Погоди, – говорила Маша, – погоди, Настя, выучусь хорошенько прясть, я тебе стану помогать». Настя схватит ее, целует, целует, та только лепечет: «М-м, задусис, задусис», а сама все терпит и губенками к Настиным губам, как пчелка маленькая, льнет. Отличное дитя было!

В эти дни недели, что оставалось от рукобיתья до свадьбы, Настя ко всем как ясочка все ласкалась; словно как прощалась со всеми молча, а больше всех припадала до матери да до маленькой Маши. Жаль было на нее смотреть, так она тяжко мучилась, приготавливаясь свой честный венец принять. А Костику и горя мало; ходит – усенки свои пощипывает, а вечерами все барышни на счетах выкладает да водку с Прокудиным пьет. Сестры он словно и не видит. Другие же и видели, и смекали, и всем жаль было Насти, да что же исчужи поделаешь? Петровна тоже задумывалась, да запой уж пропиты, что ж тут делать? Опять Костика вспомнила, гармьдер поднимет, перебьет всех, – так и пустилась на божью волю. «Девка, – думала, – глупа; а там обойдется, и будут жить по-божьему».

Так прошло рождество; разговелись; начались святки; девки стали переряжаться, подблюдные песни пошли. А Насте стало еще горче, еще страшнее. «Пой с нами, пой», – приступают к ней девушки; а она не только что своего голоса не взведет, да и чужих-то песен не слышала бы. Барыня их была природная деревенская и любила девичьи песни послушать и сама иной раз подтянет им. На святках, по вечерам, у нее девки собирались и певали.

В эти святки то же самое было. Собрались девки под Новый год и запели «Кузнеца», «Мерзляка», «Мужичков богатых», «Свинью из Питера». За каждой песней вынимали кольцо из блюда, накрытого салфеткой, и толковали, кому что какая песня предрекает. Потом Анютка-круглая завела:

Зовет кот кошку в печурку спать.

Девушки подхватили: «Слава, слава».

Допели песню, и вынулось серебряное кольцо Насти. Смысл песни изъяснить было нечего. Все захохотали, да подсмеиваться, да перешептываться промеж себя стали. Настя надела поданное ей колечко, а сама бледная как смерть; смотрит зорко, и словно как ничего не видит и не слышит. Девки шепнули одна другой на ухо: «Жердочка, жердочка», откашлянулись, да полным хором сразу и хватили «Жердочку». Все это спросту делалось, а Настя как услышала первые два стиха знакомой песни, так у нее и сердце захолонуло. А девки все веселее заливаются:

Как по той по жердочке  
Да никто не хаживал,  
Никого не важивал;  
Перешел Григорий сударь,  
Перевел Настасью свет  
За правую за рученьку  
На свою сторонушку.  
На своей на сторонушке  
И целует, и милует,  
И целует, и милует,  
Близко к сердцу прижимает,  
Настасьешкой называет.

Настя встала с места, чтоб поблагодарить девушек, как следует, за величанье, да вместо того, чтобы выговорить: «Благодарю, сестрицы-подруженьки», сказала: «Пустите».

Девушки переглянулись, встали и выпустили ее из-за стола, а она прямо в дверь да на двор. «Что с ней? Куда она?» – заговорили. Послали девочку Гашу посмотреть, где Настя. Девочка соскочила с крыльца, глянула туда-сюда и вернулась: нет, дескать, нигде не видать! Подумали, что Настя пошла к матери, и разошлись. Собрались ужинать, а Насти нет. Кликали, кликали – не откликается. Оказия, да и только, куда девка делася? А на дворе светло было от месяца, сухой снег скрипел под ногами, и мороз был трескучий, крещенский. Поужинали девушки и спать положились, устроив дружка дружке мосточки из карт под головами. Насти все не было. Она все стояла за углом барского дома да плакала. Пробил ее мороз до костей в одном платьице, вздохнула она, отерла рукой слезы и вошла потихоньку через девичью в детскую комнату. Обогрела у теплой печки руки, поправила ночник, что горел на лежанке, постлала свой войлочек, помолилась перед образником богу, стала у Машиной кровати на колена и смотрит ей в лицо. А дитя лежит, как херувимчик милый, разметав ручки, и улыбается. «Спишь, милка?» – спросила Настя потихонечку, видя, что дитя смеется не то во сне, не то наяву – хитрит с Настей.

– М-м! – сказала девочка спросонья и отворила свои глазки.

– Спи, спи, душка! – проговорила Настя, поправляя на ребенке одеяльце.

– Это ты, Настя?

– Я, милая, я. Спи с богом! Христос с тобой, мать божия и ангел хранитель! – Настя перекрестила свою любимицу.

– Посиди, Настя, у меня.

– Хорошо, моя детка. Я так вот над тобой постою.

– Милая! – сказала девочка Насте, обняла ее ручонкой, прижала к себе и поцеловала.

– Какая ты холодная, Настя! Ты на дворе была?

– На дворе, голубка.

– Холодно там?

– Холодно.

- А я сон какой, Настя, видела!
- Какой, моя пташечка?
- Будто мы с тобой по хвастовскому лугу бегали.
- А-а! Ну, спи с богом, спи!

– Нет, послушай, Настя! – продолжало дитя, повернувшись на своей постельке лицом к Насте. – Мне снилось, будто на этом лугу много-много золотых жучков – хорошенькие такие, с усиками и с глазками. И будто мы с тобой стали этих жучков ловить, а они всё прыгают. Знаешь, как кузнечики прыгают. Всё мы бегали с тобой и разбежались. Далеко друг от друга разбежались. Стала я тебя звать, а ты не слышишь: я испугалась и заплакала.

– Горсточка ты моя маленькая! Испугалась она, – сказала Настя и погладила Машу по кудрявой головке.

– Ну, слушай, Настя! Как я заплакала, смотрю, около меня стоит красивая такая... не барыня, а так, Настя, женщина простая, только хорошая такая. Добрая, вся в белом, длинном-длинном платье, а на голове веночек из белых цветочков – вот как тетин садовник Григорий тебе в Горохове делал, и в руке у нее белый цветок на длинной веточке. Взглянула я на нее и перестала плакать; а она меня поцеловала и повела. И сама не знаю, Настя, куда она меня вела. Всё мы как будто как летели выше, выше. Я про тебя вспомнила, а тебя уж нету. Ты внизу, и мне только слышно было, что ты кричишь. Я глянула вниз, а тебя там волки рвут: черные такие, страшные. Я хотела к тебе броситься, да нельзя, ножки мои не трогаются. А тут ко мне навстречу много-много детей набежало: все хорошенькие такие да смешные, Настя: голенькие и с крылышками. Надавали мне яблочек, конфеток в золотых бумажках, и стали мы летать, – и я, Настя, летала, и у меня будто крылышки выросли. А тут ты меня назвала, я и проснулась. Хороший это сон, Настя?

- Хороший, моя крошка, хороший. Спи с богом!
- О чем же ты, Настя, плачешь?
- Так, ни о чем, деточка; спи!
- Зубки у тебя болят?
- Да; спи, спи!
- Нет, скажи, о чем плачешь? Кто тебя обидел?
- Зубки болят.
- Нет, – нетерпеливо сказала девочка, – кто тебя обидел?
- Никто, мой дружок. Так, скучно мне.
- Скучно?

Настя кивнула головой, а глаза полнехоньки слез. Девочка стала ее гладить по лицу ручками и лепетала:

– Не плачь. Чего скучать? Весна будет, поедem с мамой к тете; будем на качелях качаться с тобой. Григорий садовник опять нас будет качать, вишень нам даст, веночек тебе совет...

– Ах, крошка ты моя несмысленная! Совет мне веночек Григорий, да не тот, – отвечала Настя и ткнулась головой в подушку, чтоб не слышать было ее плача. Только плечи у нее вздрагивали от задушенного взрыва рыданий.

– Настя! Чего ты? – приставала девочка. – Настя, не плачь так. Мне страшно, Настя; не плачь! – Да и сама, бедняжечка, с перепугу заплакала; трясет Настю за плечи и плачет голосом. А та ничего не слышит.

На ту пору барыня со свечкой и хлоп в детскую.

– Что это! что это такое? – закричала.

– Мамочка милая! Настю мою обидели; Настя плачет, – отвечала, сама обливаясь слезами, девочка.

– Что это? – отвечала барыня. – Настасья! Настасья! – А та не слышит. – Да что ты в самом деле дурачишься-то! – крикнула барыня и толкнула Настасью кулаком в спину.

Прокинулась Настя и обтерла слезы.

– Что ты дурачишься? – опять спросила барыня. Настя промолчала.

– Иди спать в девичью.

– Мамочка, не гони Настю: она бедная! – запросила девочка и опять заплакала и обхватила ручонками Настю.

– Иди в девичью, тебе говорю! – повторила барыня, – не пугай детей, – и дернула Настю за рукав.

– Ай! ай! мама, не тронь ее! – вскрикнуло дитя. Вскипела барыня и схватила на руки дочь, а та так и закатилась; все к Насте рвется с рук.

– Розог, розог, вот сейчас тебе розог дам! – закричала мать на Машу. А та все плачет да кричит: «Пусти меня к моей Насте; пусти к Насте!»

Поставила барыня девочку на пол; подняла ей подольчик рубашечки, да и ну ее валять ладонью, – словно как и не свое дитя родное. Бедная Маша только вертится да кричит: «Ай-ай! ай, больно! ой, мама! не буду, не буду».

Настя, услышав этот крик, опомнилась, заслонила собой ребенка и проговорила: «Не бейте ее, она ваше дитя!»

Ударила барыня еще раз пяток, да все не попадало по Маше, потому что Настя себя подставляла под руку; дернула с сердцем дочь и повела за ручонку за собою в спальню.

Не злая была женщина Настина барыня; даже и жалостливая и простосердечная, а тукманку дать девке или своему родному дитяти ей было нипочем. Сызмальства у нас к этой скверности приучаются и в мужичьем быту и в дворянском. Один у другого словно перенимает. Мужик говорит: «За битого двух небитых дают», «не бить – добра не видать», – и колотит кулачьями; а в дворянских хоромашках говорят: «Учи, пока впоперек лавки укладывается, а как вдоль станет ложиться, – не выучишь», и порют розгами. Ну, и там бьют и там бьют. Зато и там и там одинаково дети вдоль лавок под святыми протягиваются. Солидарность есть не малая.

Эх, Русь моя, Русь родимая! Долго ж тебе еще валандаться с твоей грязью да с нечистью? Не пора ли очнуться, оправиться? Не пора ли разжать кулак, да за ум взяться? Схаменися, моя родимая, многохвальная! Полно дурачиться, полно друг дружке отирать слезы кулаком да палкой. Полно друг дружку забивать да заколачивать! Нехай плачет, кому плачется. Поплачь ты и сама над своими кулаками: поплачь, родная, тебе есть над чем поплакать! Авось отлегло от твоей груди, суровой, недружливой, авось полегчает твоему сердцу, как прошибет тебя святая слеза покаянная!

## IV

Перевенчали Настю с Гришкой Прокудиным. Говорил народ, что не свадьба это была, а похороны. Всего было довольно: питья, и еды, и гостей званых; не было только веселья да радости. Пьяные шумели, кричали, куражились, – и больше всех куражился Костик. Он два раза заводил драку, и Прокудин два раза разводил его. Но трезвого задушевного веселья и в помине не было. Бабы заведут песню, да так ее кое-как и скомкают; то та отстанет от хора, то другая – и бросят. Глядят на молодых да перешептываются. Молодые сидели за особым столом; Гришка был расчесанный, примасленный, в новой свите, с красным бумажным платком под шеей. С лица у него тек пот, а с головы масло, которым его умастила усердная сваха. Гришка был в этот вечер хуже, чем когда-нибудь. Плоские волосы, лоснящиеся от втертого в них масла, плотно прилегли к его выпуклому лбу и обнаруживали еще яснее его безобразную голову. Он вообще походил теперь на калмыцкого божка-болванчика и бессмысленным взором обводил шумную компанию. На молодую жену он не смотрел. Его женили, а ему все равно было, на ком его женили. – А Настя? Настя сидела убок мужа не живая, не мертвая. Даже когда кто-нибудь из пьяных гостей, поднимая стакан, говорил: «горько! подсластите, молодой князь со княгинею», Настя, как не своя, вставала и давала целовать себя Григорью и опять садилась. Ни кровинки не видно было в ее лице, и не бледное оно было, а как-то почернело. С самого утра этого дня она будто перестала мучиться и точно как умерла. Одевали ее к венцу, песни пели, косу девичью расчесывая под честной венец; благословляли образами сначала мать с Костиком, потом барин с барыней; она никому ни словечка не промолвила, даже плачущую Машу молча поцеловала и поставила ее на пол. Посадили ее в господскую кибитку, обвешанную красными платками, и к церкви привезли. В церкви долго ждали попа; все свахи, дружки и поддружья измерзли, поминаются, и Гришка поминает ноги и носом подергивает; а Настя как стала, так и стоит потупя глаза и не шелохнется. Пришел, наконец, поп, и началось венчание.

– Имаши ли, Григорие, благое произволение пояти себе сию Анастасию в жену? – спросил поп Григория.

Григорий ничего не ответил. Поп обратился с вопросом к Насте, и она ничего не ответила. Они оба не поняли вопроса и не догадались даже, что вопрос этот к ним обращается. Поп, наконец, перевенчал Настю с Григорьем Прокудиным. Когда водили Настю вокруг наложия и пели: «Исаия, ликуй! Дева име во чреве и роди сына Еммануила», она дико взглянула вокруг, остановила глаза на брате и два раза споткнулась, зацепившись за подножье. В толпе пошел шепот: «Ох! нехорошо это, бабочки! не к добру это она, болезная, спотыкнулась-то!» Так и вина Настя хлебнула с Григорьем из одной чашки «в знак единения», тихо и покойно. Но когда поп велел им поцеловаться, она как будто шарахнулась в сторону, однако дала себя обнять и поцеловать молча. В притворе церковном свахи завернули ей косу под белую женскую повязку с красной бумажной бахромой; надели паневу с мишурным позументом и синей прошвой спереди; одели опять в белый тулуп и повезли в дом свекра. Тут Настя кланялась и свекру-батюшке, и свекрови-матушке, и мужу, и брату своему, глотала вино, когда к ней приставали: «Пригубь, княгиня молодая», безропотно давала свои уста Гришке, когда говорили: «горько», «кисло», «мышинные ушки плавают», и затем сидела безмолвным истуканом, каким ее видели в начале настоящей главы.

Попойка все продолжалась; гости шатались, спорили и кричали. Свахи и дружки тоже подгуляли, и о молодых на время как будто позабыли. Прокудин угощал гостей с усердием и все оглядывая. Заметив на верхнем полу раскрасневшуюся молодую бабочку, бывшую Настинной свахой, он выразительно кивнул ей головой и опять продолжал потчевание. Сваха поправила повязку, выбежала за дверь и через четверть часа возвратилась с другою свахой и дружкой. Молодых повели спать в пуньку с шутками да прибаутками. Более всех тут отличалась

Настина сваха, у которой муж другой год пропадает на Украине и которая в это время успела приобрести себе кличку Варьки-бесстыжей. Впрочем, ее никто не обегал, потому что она была и работница хорошая и из хорошего дома. О ее родных говорили, что они «первые хозяины», и Варьке по ним везде был почет, хоть и знали, что она баба гулящая. Ну да «у нас (как говорят гостомльские мужики) из этого просто», – ворон ворону глаза не выклюет. У нас лягушек очень много в прудах, так как эти лягушки раскричатся вечером, то говорят, что это они баб передразнивают: одна кричит: «Где спала! где спала!» – а другая отвечает: «Сама какова! сама какова!» Впрочем, это так говорят, а уж на самом деле баба бабу не выдает: все шито да крыто. Только стариков так иной раз выводят на чистую воду. Зато уж старики и молчат, не упрекают баб ничем, а то проходу не будет от них; где завидят и кричат: «Снохач! снохач!» У нас погудка живет, что когда-то давненько в нашу церковь колокол везли; перед самою церковью под горой колокол и стал, колесни завязли в грязи – никак его не вытащить. Припрягли еще лошадей, куда только можно было цеплять; бьют, мордуют, а дело не идет, потому что лошади не съезженны: одна дернет, а другая стоит. Никак не добьешься, чтобы все сразу приняли. Бились, бились и порешили, что лучше взвести колокол на гору народом. Собрался весь народ, подцепили за передок колесней веревки, крикнули:

Первой, другой  
Разом!  
Еще другой  
Котом!  
Ухха-ху-о!

Колокол пошел, но на половине горки народ стал отдохнуть. Тут, разумеется, сейчас смехи да пересмешки: кто как вез; да кто надюжался, кто лукавил. Шутили так, отдыхая.

– Ну, будет! – крикнул дьячок. Молодой был парень и шутник большой. – Будет, – говорит, – стоять-то да зубы скалить, принимайся опять.

Народушка опять взялся, опять пропел «первой-другой» и потянул.

– Что-то тяжело стало! – крикнул дьячок.

– И то, малый, словно потяжелело! – отозвался кто-то из ребят.

– Верно, *снохач* какой-нибудь есть промеж нас, – крикнул дьячок.

– Снохачи долой! – гаркнули молодые ребята и бабы.

Все мужики, этак лет за сорок, так сразу и отскочили, а остальные не удержали колокола, и он загудел опять книзу.

Смеху было столько, на всю деревню, что и теперь эта погудка живет, словно вчера дело было. А там уж правда ли это или нет – за это не отвечаю. Только в Гостомле всякое малое дитя эту погудку расскажет, и обаяльные бабы нашим мужикам все смеются: «Гостомцы, – говорят они, – как вы колокол-то тянули?» Часто этак смеются.

Бабы у нас бедовые, «разухабистые», что говорится; а Варька-бесстыжая на все дела была первая. Ее все брали в свахи, и она считалась лучшею свахою, потому что была развеселая, голосистая, красивая и порядки все свадебные знала. Ребят у нас женят всё молодых, почти мальчишек, на иного и смотреть еще не на что, а уж его окрутят с девкой. Ничего иной не смыслит, робеет перед женою, родным в это дело мешаться неловко, так и дорожат свахой смелой да бойкой. А уж Варька была такая сваха, что хоть какого робкого мальчишку жени, так она ему надает смелости и «доведеет до делов». Она была свахою и у Насти. Другая сваха, со стороны жениха, была только для прилики. Это была веселая востролиценькая бабенка; она только пела да вертелась, а дела-то от нее никакого не было. Всем делом орудовала Варька, и на нее одну все обращали внимание.

Раздела Варька Настю в холодной пуньке, положила ее в холодную постель и одела веретем, а сверху двумя тулупами. Тряслась Настя так, что зубы у нее стучали. Не то это от холода, не то бог ее знает от чего. А таки и холод был страшный.

– Зазябла, молодка! – говорила Варька Насте: потом погасила фонарь и вышла.

Через минуту дверь пуньки опять скрипнула: «Иди! иди, дурашный!» – шепнула Варька и насильно втолкнула в пуньку молодого князя Григорья Прокудина.

А в избе все шла попойка, и никто в целом доме в эти минуты не подумал о Насте; даже свахи только покрикивали в сарайчике, где лежал отбитый колос: «Не трожь, не дури, у тебя жена есть!» – «Ай, ну погоди! Дай вот жене скажу», – раздавалось в сарайчике. В избе на рюминском хуторе тоже видно было, что народ гуляет; даже Алены не было дома, и только одна Петровна стояла на коленях перед иконой и, тепля грошовую свечечку из желтого воска, клала земные поклоны, плакала и, задыхаясь, читала: «Буди благословен день и час, в онь же господь наш Иисус Христос страдание претерпел».

Не знаю, отчего у нас старые люди очень многие знают эту молитву и особенно любят ею молиться, претерпевая страдания, из которых соткана их многопечальная жизнь. Этой молитвой Петровна молилась за Настю почти целую ночь, пока у Прокудина кончился свадебный пир и Алена втащила в избу своего пьяного мужа, ругавшего на чем свет стоит Настю.

## V

С тех пор как Варвара стала ходить в свахах, она никогда не запомнила такой свадьбы, какова ей далась Настина свадьба. И на колесе она наигралась, и назяблась уж порядком, и из избы ей уж два раза доносили, что жареный петух готов и пора молодых поднимать, «а поднимать их не с чем». Зло Варвару берет страшное. Она с сердцов то выругает Григорья «сопатым», то в дверь пуньки рукой, будто невзначай, стукнет, – а все нет того, чего ей ждется. Походила она и стукнула еще раз – дверь отворялась, и перед изумленной свахою предстала Настя совсем одетая: в паневе, в фартуке и в повязке.

– Что ж это вы? – воскликнула Варвара.

– Пойдем, куда тебе нужно, – тихо ответила Настя, взяв сваху за руку. Это было первое слово, которое выговорила Настя в день своей свадьбы.

Делать было нечего; Варвара собрала дружков, оправила голову замерзшему Гришке, и с церемониею повели молодых за брачный стол есть когута жареного и пшенную кашу с коровьим маслом.

Невесело шли поздравления. Гости поздравляли заикаясь и не договаривая приличных случаю двусмысленных острот и обычных прибауток. Прокудин шептал что-то Костику на ухо, а тот, едва понимая пятое слово, вскрикивал: «Не может быть! Эшь она! гади я ее!» Алена толкнула мужа и твердила ему: «Полно срамничать-то, озорник! Полно сестру-то хайть, – ты глянь на нее, какая она: краше в гроб кладут». Настя сидела за масляной кашей и жареным когутом и ни к чему не прикасалась. Она нисколько не изменилась и смотрела тем же равнодушно убитым взглядом, каким глядела час тому назад, когда ее еще сваха Варвара не выводила из-за стола в пуньку. Григорий как-то совсем осовел: он и перезяб, и спать ему хотелось, и он зевал и жался. Сваха Варвара хлопотала около молодых, потчевала их, а сама трещала и, как сорока, оборачивалась на все стороны. Григорий выпил стаканов шесть браги, а Настя и полстакана не могла выпить, потому что брага была хмельная, разымчивая. У нас в такую брагу пенного вина подбавляют, и человек от нее скоро дуреет; а свашенька Варвара поусердствовала для молодых и, отняв для них браги в особый кубан, еще влила туда добрую долю пенника. Никак не могла пить Настя этой браги, с души ее она мутила. Без привычки таки этой браги, сыченной с пенником или с простой полугарной водкой, никак нельзя пить: и не вкусна она, а запах в ней делается отвратительный, и голова вдруг разболевается. А мужики охотно портят вкусную хлебную брагу винной подмесью, потому что с подмесью она крепче, «сногшибательнее».

Григорий выпил шестой стакан браги, словно развеселился и стал все засовывать руку за спину жене, стараясь ее как бы обнять; но смелости у него на это не доставало, и рука в половине своего эротического движения падала на лавку сзади Насти. Выпил Григорий еще два стакана, смелее целуясь с женою за каждым «горько»; сваха объявила, что «молодой княгине пора упокой принять», и опять с известными церемониями уложила Настю в ее холодной супружеской спальне. Потом взяла Григорья в чулан в сенях; долго ему говорила и то и се, «ты, – говорит, – дурак сопатый! Чего ты на нее смотришь? Ведь это не про господ, а про свой расход. Другой бы на твоём месте досе... Да где тебе, дуриле лопухому!»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.